

# Теория ненасилия: современная рефлексия

Тодд Мэй

## Что такое ненасилие?<sup>1</sup>

DOI: 10.53953/08696365\_2023\_184\_6\_23

Todd May

What is Nonviolence?

Хотя шансы ненасильственного политического действия в последние годы возросли, философия за ними не поспевает. Это прискорбно, потому что в целом вышло немало научных работ о ненасилии, где подробно изложена его история<sup>2</sup> либо рассматриваются его характеристики и последствия его применения<sup>3</sup>. Однако философия не последовала за этой тенденцией. За последнее время не вышло заметных философских трактатов о ненасилии как таковом<sup>4</sup>. Кроме того, наиболее тщательный философский разбор этого понятия по-прежнему следует искать в текстах Мартина Лютера Кинга — младшего, Махатмы Ганди и их последователей<sup>5</sup>. (Я буду часто употреблять термин «ненасилие» для более краткого обозначения ненасильственных политических действий, но сам по себе он применяется и к отказу от насилия, не связанному с политикой. Но последнее значение нас в данном случае не интересует.)

- 
- 1 Настоящий текст — глава из книги Тодда Мэя «Ненасильственное сопротивление». — *Прим. пер.*
  - 2 См., например: [Kurlansky 2006; Roberts, Garton Ash 2011; Ackerman, Duvall 2000].
  - 3 Например, Курт Шок изучал успехи и провалы ненасильственных движений в недемократических странах [Schock 2005]; Эрика Ченовет и Мария Дж. Стефан сопоставили восстания с применением насилия и без [Chenoweth, Stephan 2011].
  - 4 Выходили философские работы на смежные темы, например [Brownlee 2012]. К тому же не так давно был издан сборник работ Роберта Холмса о ненасилии [Holmes 2013]. Но это именно сборник, а не целостная работа, причем большинство эссе посвящено тому, как жить без насилия, а не феномену ненасильственного сопротивления.
  - 5 Классической работой, где системно изложены принципы ненасильственного сопротивления в духе традиции Ганди, остается книга Джоан Бондюрэн, впервые опубликованная в 1957 году [Bondurant 1988].

В этом тексте я постараюсь исправить упущение и предложить философскую трактовку ненасилия. Необходимо взвесить разные точки зрения, доводы против них, попытки переосмысления и т.д. Но в итоге мы должны прийти к рабочему определению ненасилия, которое позволит нам вести разговор на эту тему с большей точностью и ясностью.

Однако, чтобы понять феномен ненасилия, надо начать с насилия. И это не потому, что ненасилие — просто отсутствие насилия. Если бы это было так, то в каком-то смысле и сон мы бы считали ненасильственным актом. Ненасильственные акты невозможны без собственно действия. Сам Ганди в конечном счете отказался от предложенного им термина для ненасильственных действий — «пассивное сопротивление» — из-за коннотаций бездеятельности, претерпевания, а не созидания<sup>6</sup>. Кинг, в свою очередь, писал: «Негры понимали, что ненасильственные действия дополняют — но не заменяют — попытки внедрить изменения на законодательном уровне. Так они могли избавиться от пассивности, не прибегая к мщению» [King 1963: 36]. Однако одна из главных особенностей ненасилия в *отсутствии насилия*. Чтобы понять, что такое ненасилие, надо понять, что оно отвергает, отвергая насилие.

Напрашивается мысль, что тогда мы должны дать определение насилию. Но все гораздо сложнее. Понятия «насилие» и «жестокость» употребляются в разных значениях, не всегда имеющих отношение к политике. Жестокими, например, называют некоторые природные катаклизмы. Мы говорим о жестоких землетрясениях и цунами или жестоком шторме. Жестоко по отношению друг к другу часто ведут себя и животные (не считая человека). Отвергая жестокость, сторонники ненасилия не говорят о поведении диких зверей или погодных явлениях. Они имеют в виду нечто иное.

Даже когда мы переходим к политическим рассуждениям о насилии, зачастую трудно уловить суть этого понятия. Одна из причин в том, что слово «насилие» нередко используется не только описательно, но и нормативно. Иначе говоря, им не просто описывают определенное поведение, но прямо или косвенно его осуждают. Поэтому оно охватывает весьма широкий диапазон значений. Приведу хотя бы один пример из недавно опубликованного. Славой Жижек в работе «О насилии» (выделяет три типа насилия: субъективное, системное и символическое. Субъективное насилие — это насилие в традиционном понимании, например когда человек бьет или убивает другого. Системное насилие — «нередко катастрофические последствия спокойной работы наших экономических и политических систем» [Жижек 2010: 6])<sup>7</sup>. Символическое насилие, по мысли Жижека, состоит в самом акте использования языка:

Как уже прекрасно знал Гегель, в самой символизации вещи, равной ее умерщвлению, содержится нечто насильственное. Это насилие действует на нескольких уровнях. Язык упрощает определяемую вещь, сводя ее к одной черте. Он расчленяет вещь, разрушая ее органическое единство, относясь к ее частям и свойствам как существующим самостоятельно. Он помещает вещь в область значения, которая в конечном счете является внешней по отношению к ней. Когда мы назы-

- 
- 6 Это не значит, что ненасилие не предполагает претерпевания. Как поясняет Бондюран, готовность пострадать — один из краеугольных камней гандианской концепции ненасилия (сатьяграха).
- 7 Хотя Жижек здесь не ссылается ни на какую литературу, сама идея структурного насилия восходит к статье: [Galtung 1969]. Об этой работе речь пойдет ниже.

ваем золото «золотом», мы насильственно отрываем металл от его естественной текстуры, нагружая его нашими мечтами о богатстве, власти, духовной чистоте и тому подобных вещах, которые не имеют ничего общего с непосредственной реальностью золота [Там же: 51].

В своих размышлениях о насилии, который сам Жижек называет взглядом искоса<sup>8</sup>, Жижек не сообщает нам, какова связь между тем, что кого-то избили, тем, что этот кто-то подчиняется угнетающей его социально-политической системе, и тем, что его называют человеком. (Я, со своей стороны, не уверен, что сам по себе язык — в отличие от, скажем, оскорбительного языка — обладает достаточным сходством с предыдущими двумя категориями, чтобы считать его насилием. Это некоторое преувеличение.) Но если бы он и сообщил, не факт, что это помогло бы нам понять суть ненасилия. Ненасильственные действия, несомненно, предполагают отказ от субъективного и системного насилия (впрочем, мы еще вкратце остановимся на сложностях этой идеи), но, конечно, не означают отказа от того, что Жижек называет символическим насилием. Политические инициативы и политические дискуссии требуют постоянного использования языка. Трудно представить себе организацию ненасильственной акции без языка. Тогда получается, что ненасилие должно происходить в молчании? Получается, деятели «поющей революции» в Эстонии или организаторы движения «Захвати Уолл-стрит» совершали акты, которые ставят их на одну доску с советскими захватчиками или даже с банкирами, против которых протестовали на Уолл-стрит? По-моему, это натяжка.

Что же тогда мы подразумеваем под насилием, точнее, под тем насилием, которое отвергают сторонники ненасилия? Разумеется, есть действия, которые почти всякий назовет насилием, скажем, намеренное причинение другим физического вреда. И есть действия, в которых почти никто насилия не усмотрит, например молитвенное бдение в знак солидарности с политзаключенным. Но как быть с разделяющим их обширным пространством? Можем ли мы определить разумные критерии того, что считать насилием, даже если границы этих критериев нельзя будет назвать непроницаемыми?

Для начала можно отгаликовать от определения насилия, которое дает философ Роберт Оди. В статье «О смысле и оправдании насилия» он пытается определить любое насилие, а не только то, которого стараются избегать сторонники ненасилия. «Насилие, — пишет он, — это физическое нападение на человека или животного, жестокое обращение или жестокая физическая борьба с ним, либо психологическое надругательство или издевательство над человеком или животным, либо жестокое и продиктованное ненавистью или злонамеренное и жестокое разрушение или повреждение чужой собственности или потенциальной собственности» [Audi 2009: 143]. Это определение состоит из трех частей: одна касается физического насилия, вторая — психологического, третья — ущерба, нанесенного чужой собственности. Оставим пока в стороне последний пункт. Мы вернемся к нему в конце текста. А пока поговорим о первых двух.

---

8 Оригинальное название книги Жижека — «Violence: Six Sideways Reflections» («Насилие: шесть взглядов со стороны», то есть буквально «искоса», «сбоку»); во введении Жижек пишет об избранной им стратегии «косого взгляда» [Жижек 2010: 7]. — *Прим. пер.*

Конечно, ненасильственное движение должно отказаться от физического насилия. Это базовый принцип ненасильственных действий. Должно ли оно отказаться и от психологического насилия? Вероятно, да. Представьте себе, например, что участники движения «Захвати Уолл-стрит» окружили бы какого-нибудь финансиста и стали бы распевать песни с оскорблениями в его адрес. Или что протестующие на площади Тахрир наносили бы словесные оскорбления наблюдавшим за ними солдатам, насмехаясь над ними и бросая страшные угрозы им или их семьям. В таких действиях есть нечто противоречащее духу ненасилия. В конце концов, ненасильственные акты должны делать уязвимыми не противников или сторонних наблюдателей, а самих протестующих. Достоинство (понятие, к которому мы еще вернемся) ненасильственного протеста зиждется отчасти именно на стремлении не умалять политический акт, а возвысить его, что и удается за счет готовности протестующих скорее самим подвергнуться оскорблениям, чем оскорбить других. Поэтому, как представляется, участники ненасильственной акции будут избегать и того, что Оди называет психологическим насилием.

Безусловно, не всегда просто провести границу между психологическим насилием и воздействием на психику, вызывающим тревогу. Когда-то я участвовал в кампании, целью которой было положить конец финансовой поддержке США движению контрас в Никарагуа. Контрас сформировались во многом благодаря Соединенным Штатам и стремились к свержению марксистского сандинистского режима. Они приступили к безжалостным терактам, большей частью осуждаемым за пределами США. Во время одного протеста, в организации которого я принимал участие, кто-то предложил эскиз листовки, где подробно описывались некоторые обыкновения контрас, например как они отрезают груди у женщин и бросают на штыки грудных детей. Некоторые из организаторов заявили, что в этих листовках есть насилие, потому что они будут оскорблять тех, кто их прочтет. Я не разделял этой точки зрения, — мне казалось, что перед нами скорее характеристика насилия, чем само насилие, — но стоит помнить, что граница между привлечением внимания к насилию и собственно психологическим насилием не всегда очевидна.

Физическое и психологическое насилие, как называет их Оди, разумеется, чуждо ненасильственным инициативам и акциям. Правда, это не значит, что, если участники какой-либо акции прибегают к физическому или психологическому насилию, сама акция превращается в насильственную. Как одна ласточка не делает весны, так и один тычок или одна угроза не делают ненасильственный протест насильственным. Ненасилие в чистом виде — скорее идеал, чем описание конкретных акций. Если бы мы называли ненасильственными только акции, полностью свободные от насилия, я подозреваю, что в эту категорию не попала бы ни одна акция. Правильнее было бы сказать, что в той мере, в какой инициатива или акция является ненасильственной, ее участники отвергают физическое и психологическое насилие.

Однако перед нами встает и другой, более трудный вопрос. Это вопрос структурного, или, по Жижекю, системного, насилия, то есть насилия, предположительно порождаемого угнетающей человека социальной, экономической и/или политической системой. На самом деле здесь целых два вопроса. Во-первых, действительно ли структурное насилие — одна из разновидностей насилия? Во-вторых, каким образом ненасилие должно ее сторониться (если во-

обще должно)? Оди, не включивший в свое определение идею структурного насилия, не сделал этого сознательно. Он поясняет:

Некоторые, особенно те, кто тяготеет к марксистским взглядам, говорят о насилии, выходящем за рамки моего определения. Кто-то винит американское общество в насилии над неграми, подразумевая их дискриминацию и изоляцию... Но трудно сказать, что нам даст такое употребление. Мы увеличим риск двусмысленности и неясности, равно как и поспособствуем искушению — которому слишком многие и без того охотно поддаются — заменять расплывчатыми общими понятиями конкретные, требующие, как, например, «дискриминация при приеме на работу», конкретных решений [Ibid.: 147].

В разговоре о структурном насилии неизменно обращаются к классической работе Йохана Галтунга «Насилие, мир и исследования мира». Эта статья, опубликованная в 1969 году, представляет собой первую попытку последовательного анализа данной проблемы. Галтунг обобщенно определяет насилие следующим образом: «Насилие имеет место, когда на людей оказывают такое воздействие, что они не реализуют в полной мере потенциала своих физических и ментальных возможностей» [Galtung 1969: 168]. Поэтому насилие — «то, что увеличивает дистанцию между потенциальным и наличным, и то, что препятствует сокращению этой дистанции» [Ibid.: 168]. В качестве примера насилия Галтунг приводит человека, умирающего от туберкулеза. Если бы человек заразился и умер от этой болезни в XVIII веке, ни о каком насилии речи бы не шло. Поскольку тогда не умели лечить туберкулез, не было и средств сократить дистанцию между наличным (болезнью) и потенциальным (исцелением). Но так как сегодня туберкулез излечим, человек, который подхватил это заболевание, но не может получить нормального лечения, — жертва насилия. Он не реализует в полной мере свои потенциальные физические возможности, тогда как несколько веков назад он бы их реализовал.

Галтунга интересуют два типа насилия — прямое и структурное. «*Прямым*, или *непосредственным*, насилием мы будем называть насилие, совершаемое конкретным агрессором, а *структурным*, или *опосредованным*, — насилие в отсутствие такого агрессора» [Ibid.: 170]. Последнее имеет место, когда «насилие встроено в саму систему и выражается в неравномерном распределении власти, а следовательно, и в неравных жизненных возможностях» [Ibid.: 171]<sup>9</sup>. Например, в экономической системе, где одни должны работать на других, чтобы не умереть с голода, тогда как тем, на кого они работают, такая опасность не грозит, скорее всего, присутствует структурное насилие. Хотя никто не в ответе за сложившуюся ситуацию, — если мы исходим из того, что никто из тех, кто вовлечен в систему, ее не создавал, — одним из ее вероятных следствий будет то, что некоторым придется выполнять черную работу или отчужденный труд во избежание голодной смерти. Таким образом, они не смогут в полной мере реализовать свой физический и ментальный потенциал.

Я сказал «вероятных», потому что само существование такой системы автоматически не подразумевает структурного насилия. Можно представить себе

---

9 Галтунг понимает, что его концепция насилия слишком широка, поэтому в одном месте говорит: «Чтобы не злоупотреблять словом “насилие”, мы будем иногда называть структурное насилие *социальной несправедливостью*» [Galtung 1969: 171].

экономическую систему, в которой те, на кого работают другие — назовем их собственниками, — так озабочены благополучием работников, что обеспечивают каждого осмысленным трудом. В таком случае реализуемые возможности могут совпадать с потенциальными и структурного насилия не будет. Поэтому, хотя Галтунг, описывая структурное насилие, употребляет слово «следовательно», мы должны понимать, что речь скорее о вероятности, чем о логическом следствии. Конечно, учитывая, что почти все примеры подобных экономических систем ведут к такому следствию, его вероятность весьма высока, но в теории различие между вероятным и логическим следствием сохраняется.

Можно возразить, что нарисованная мной экономическая система, несмотря на благожелательность собственников, с точки зрения Галтунга все равно осталась бы примером структурного насилия. Пусть работникам и предлагают осмысленный труд, они все равно зависят от прихотей собственников. Если собственники решат, что работникам слишком привольно живется или что их собственным наследникам должно достаться больше, от их великодушия не останется и следа. А поскольку благосостояние работников зависит от капризов чужого великодушия и работники, как часто бывает, сознают эту зависимость, они не смогут в полной мере реализовать свой ментальный потенциал. Коротко говоря, они будут ощущать непрочность своего положения. Эта непрочность, по Галтунгу, есть форма структурного насилия.

В этом возражении присутствует допущение, которого не было в исходном примере, — что работники сознают шаткость своего положения. Если же они ее не сознают, а собственники относятся к ним заботливо, работники могут реализовать свой потенциал. Если они останутся в состоянии блаженного неведения, — что вероятно, если мы исходим из порядочности собственников, — тогда можно себе представить, что они реализуют свои таланты, будут получать удовольствие от труда и пожинать достойные плоды. Таким образом, этому контраргументу придает силу допущение, что работники сознают непрочность своего положения, наряду с предположением (обоснованным), что это сознание ведет к неуверенности, а неуверенность, в свою очередь, мешает им реализовать свой потенциал.

Однако это возражение направлено не только против примера, которым я проиллюстрировал вероятность насилия в экономической системе, где одни работают на других. Оно ставит перед неудобным вопросом и определение структурного насилия, данное Галтунгом. Описанную мной экономическую ситуацию из ненасильственной в насильственную превращает осознание работниками непрочности своего положения и их реакция на это обстоятельство. В этой ситуации нет никакого насилия, пока работники не начинают ее осознавать и это осознание не приносит свои плоды. Но если ситуация становится насильственной именно по этой причине, тогда почему мы считаем ее примером *структурного* насилия? В структуре ситуации самой по себе нет никакого угнетения. Насильственной по определению Галтунга ее делают по большому счету субъективное осознание ситуации и реакция на нее. Такое осознание следует интерпретировать скорее как *реакцию* на структуру ситуации — и прежде всего на непрочность этой структуры, — чем как элемент самой структуры.

Напрашивается мысль, что нужна более объективная характеристика структурного насилия, нежели та, что мы находим у Галтунга. В концепции

Галтунга в ее нынешней формулировке примерами структурного насилия названы ситуации, которые мы бы не решились назвать насильственными. Пожалуй, Галтунг мог бы доработать предложенное им определение насилия так, чтобы устранить это противоречие. Но даже если бы ему это удалось, его ждало бы новое затруднение. В статье «Идея насилия» философ С.Э.Дж. Коуди утверждает, что в определении Галтунга есть неувязка, не имеющая ничего общего с субъективными реакциями [Coady 1986]. Коуди предлагает сузить определение насилия, приблизив его к прямому насилию по Галтунгу — непосредственному и, возможно, преднамеренному. Коуди считает определение Галтунга слишком широким:

Из него (определения Галтунга. — Т. М.), по-видимому, следует, что ребенок совершает насилие, если выражает свои потребности и желания в формах, крайне утомляющих его мать и/или отца, пусть даже это не вспыльчивый и не склонный к жестокости ребенок. Более того, я совершу насилие, если по вашей просьбе дам вам снотворное, которое помешает вам в полной мере реализовать свой физический и ментальный потенциал, по крайней мере в течение нескольких часов [Ibid.: 7].

Ни один из этих контрпримеров не является примером структурного насилия. Их цель скорее показать, что предлагаемое Галтунгом более широкое определение насилия, из которого он выводит и определение структурного насилия, само по себе шире, чем позволяет здравый смысл. Так как одна из целей более широкого определения насилия — признать сам феномен структурного насилия, сужая определение, мы рискуем оставить структурное насилие за скобками.

Оспаривая определение Галтунга, Коуди не стремится ослабить обеспокоенность социальной несправедливостью. Сужая определение насилия, он не хочет умалять значимость проблем, обусловленных тем, что Галтунг называет структурным насилием. Скорее он, как и Оди, полагает, что смешение социальной несправедливости и насилия размывает нормативную специфику социальной несправедливости.

Существование внутри или в отношениях сообществ как социальной несправедливости (то есть «структурного насилия»), так и насилия в узком смысле — повод для морального беспокойства, но эти явления, по всей видимости, по-разному соотносятся с моралью... некоторые акты домашнего насилия могут быть морально оправданы, скажем, если человек насильственно удерживает кого-то, чтобы помешать ему совершать насилие над другими. А вот мысль о моральной правомерности социальной несправедливости вызывает куда большее удивление [Ibid.: 11].

Смешение социальной несправедливости и насилия, по мнению Коуди, проблематично не только потому, что допускает контрпримеры, но и потому, что на более глубинном уровне оно создает моральную путаницу. Насилие, при всей своей моральной неоднозначности, не всегда аморально, как показывает пример с применением силы против домашнего насилия. А вот социальная несправедливость всегда аморальна. Это вопрос не просто определения, а нормативной оценки. Называя социальную несправедливость формой насилия, мы не только не даем ей точного определения, но и не оцениваем ее с точки зрения нормы: иначе говоря, мы не замечаем, что она всегда аморальна.

Коуди приходит к выводу, что следует остановиться на более узком определении насилия<sup>10</sup>. «Более узкие определения строятся, как правило, вокруг однозначного акта межличностного применения силы, обычно предполагающего нанесение физического ущерба» [Ibid.: 4]. Он не дает определения силы, но останавливается на примерах применения силы без *физического* ущерба. Особенно интересна попытка Коуди обосновать, что нанесение психологической травмы тоже относится к насилию. Он рассматривает трагическое происшествие, о котором впервые подробно рассказал журналист Ньютон Гарвер. Родители девушки по имени Линда Олт решили наказать ее за связь с женатым мужчиной, заставив ее отвести свою собаку в пустыню. Коуди цитирует газетный отчет Гавера: «Они (родители. — Т.М.) заставили девушку выкопать неглубокую могилу. Затем миссис Олт схватила собаку обеими руками, а мистер Олт сунул дочери пистолет 22-го калибра и велел ей застрелить собаку. Вместо этого девушка приставила пистолет к правому виску и застрелилась сама» [Ibid.: 16] (цитируется статья: [Garver 1968]).

Коуди считает, что есть основание причислять такого рода психологическое надругательство к насилию. Он пишет:

Если мы возьмем случай, когда человек ловко воздействует на эмоции и страхи другого, прибегая к сочетанию слов и поступков, близкому к физическому насилию и рассчитанному на подавление чужой воли, мы можем сказать, что такое воздействие достаточно схоже с применением физической силы, чтобы считать его формой насилия [Coady 1986: 15–16].

Коуди отличает такого рода примеры от структурного насилия и выражает обеспокоенность тем, что некоторые смешивают психологическое насилие со структурным, так как в обоих случаях мы, по его словам, имеем дело с «трудноуловимым» явлением [Ibid.: 16]. Он предостерегает от такого смешения понятий, отмечая «непосредственное воздействие и своеобразие мер, к которым прибегли родители, чтобы надавить на несчастную девушку, и которые привели к таким страшным последствиям» [Ibid.].

Однако здесь есть затруднение, сопряженное с неуловимостью этого явления и просочившееся в рассуждения самого Коуди о психологическом насилии. Когда он утверждает, что психологическое насилие тоже насилие, и когда советует не смешивать психологическое насилие со структурным, Коуди говорит о психологическом насилии с точки зрения его *последствий*. Действие воспринимается как насильственное не *само по себе*, а за счет того, к чему оно *приводит*. Мы можем определять через последствия физическое насилие в том смысле, что, если отталкиваться от определения Коуди, оно подразумевает «нанесение физического ущерба» в результате применения силы. Но когда речь идет о психологическом насилии, не всегда легко нащупать связь между действием и его последствиями. В семьях, где практикуется психологическое насилие, оно часто накапливается, постепенно сказываясь на ребенке. Травма наносится не в результате единичного случая психологического насилия со стороны родителей, а в результате многократного воздействия такого

10 Он высказывается и против другого определения насилия, которое называет «легитимистским», то есть «предполагающим разделение законного и незаконного применения силы» [Coady 1986: 4]. Его доводы против этой точки зрения кажутся мне убедительными, поэтому я не буду останавливаться на ней здесь.

рода. В конце концов, многие родители, разговаривая с детьми, выходят из себя, а потом жалеют об этом и стараются избежать такого поведения в дальнейшем. Психологическое насилие и его последствия определяются не только степенью родительского гнева, но и повторяемостью его проявлений, когда такая агрессия становится привычной моделью взаимоотношений между родителями и ребенком.

Размышления Коуди о случае семьи Олт не дают оснований считать его примером психологического насилия. Коуди говорит о «непосредственном воздействии и своеобразии мер, к которым прибегли родители, чтобы надавить» на дочь. Таким образом он сближает психологическое насилие с физическим. Но такое сближение мешает нам воспринимать издевательство родителей над дочерью, которое постепенно оказывало на девушку воздействие и могло привести к тому же трагическому исходу, как разновидность психологического насилия. Более того, есть риск, что оно помешает нам и в целом правильно понять случай Олтов. В конце концов, коль скоро родители Линды Олт были способны на такое варварское отношение к дочери, наверняка это был не первый случай унижения со стороны родителей. Вероятно, к самоубийству ее подтолкнул не этот конкретный случай, а в целом жестокое обращение с ней родителей. Трудно представить себе другой расклад. Предположим, что до этой минуты родители девушки относились к ней заботливо и всячески поддерживали ее. Неужели случившееся сразу бы побудило ее покончить с собой? Скорее оно вызвало бы смятение и недоверчивое изумление, за которыми бы последовали умоляющие вопросы в попытке примирить происходящее с прежним отношением родителей к дочери. Иными словами, последствия, к которым привели действия родителей Линды — ее самоубийство, — скорее всего не были вызваны непосредственно и конкретно этим случаем, как полагает Коуди.

А если нет, значит, перед нами не пример психологического насилия? Расценивать ли поведение родителей Линды Олт как насилие лишь в том случае, если до самоубийства ее довели именно их действия, непосредственно ему предшествовавшие? Интуитивно кажется, что такой ход мысли неверен, хотя его, безусловно, нельзя назвать непоследовательным. Сам Коуди, по-видимому, допускает, что психологическое надругательство, даже в случае семьи Олт, необязательно равнозначно насилию, ведь он пишет, что это «несомненно, ужасный поступок, который, *пожалуй* (Курсив мой. — Т.М.), можно назвать насилием» [Ibid.]. Перед нами дилемма. С одной стороны, если мы ограничим определение насилия лишь действиями, непосредственно связанными со своими последствиями, многие потенциальные примеры психологического насилия окажутся за его рамками. В такой позиции есть логика, но она представляется неоправданно произвольной. Почему в непосредственном акте психологического надругательства больше насилия, чем в серии таких актов, которые могли оказать на жертву такое же или еще большее воздействие?

С другой стороны, если мы допускаем, что насилие может выражаться не только в непосредственном воздействии, разве мы не признаём тем самым по крайней мере вероятности структурного насилия? Возможно, оценив другие пагубные последствия некоторых ситуаций, мы обнаружим в них проявления насилия? Я не хочу сказать, что от признания психологического насилия можно сразу перейти к насилию структурному. Коуди прав, когда отвергает этот шаг. Речь скорее о том, что, если мы отказываемся сводить определение

насилия к его прямым последствиям, мы не можем сбросить со счетов и структурное насилие.

Здесь ход моих рассуждений рискует вызвать возражения. Можно поспорить, что у физического и психологического насилия есть нечто общее — *намеренность*. Вне зависимости от того, насколько быстро действия приводят к каким-то последствиям, разве сами они не продиктованы намерением причинить вред, отсутствующим, как признает и сам Галтунг, в случае структурного насилия? Однако психологическое насилие необязательно предполагает намерение причинить вред. Если говорить о родителях Линды Олт, они, может быть, и не хотели ей навредить; их намерение, при всей извращенности их мотивов и поведения, вероятно, состояло в том, чтобы предотвратить вред, который могли причинить новые беспорядочные связи. Сожаление, выраженное отцом девушки, свидетельствует, по-видимому, как раз о таком намерении. Отвечая на вопросы после самоубийства дочери, он сказал: «Я убил ее. Я убил ее. Это все равно, что я бы убил ее своими руками» [Garver 1968: 176]. Безусловно, физическое насилие часто совершается преднамеренно. Иначе необходимую операцию без анестезии, например, тоже причислили бы к случаям насилия. Однако вне зависимости от того, насколько это верно, психологическое насилие необязательно требует намерения причинить вред. Более того, подобное насилие часто повергает в недоумение именно потому, что акты психологического насилия продиктованы не намерением навредить, а скорее желанием сделать лучше<sup>11</sup>.

Более того, как показывает в книге «Насилие и социальная справедливость» Витторио Буфаччи, иногда насилие, пусть даже непреднамеренное, предсказуемо [Bufacchi 2007]. Скажем, если воюющая сторона сбрасывает на врага управляемые бомбы, зная, что некоторые из них наверняка отклонятся от заданной траектории и убьют мирных жителей, для которых не были предназначены, это можно расценивать как непреднамеренный акт насилия. Хотя Буфаччи стремится дистанцироваться от возможности случайного насилия, — он полагает, что насилие есть по меньшей мере нечто предсказуемое, — я думаю, что некоторые случаи, такие как случай Олтов, можно рассматривать как примеры случайного насилия.

Если мы признаем, что наряду с физическим и психологическим насилием возможно и насилие структурное, перед нами встают два вопроса. Во-первых, любой ли формы насилия должны избегать сторонники ненасильственных действий? Во-вторых, есть ли между этими разными формами насилия нечто общее, что позволило бы отнести их к одной категории, причем к такой, из которой следует принадлежность всех трех к насилию?

На первый вопрос ответить легко. Сторонники ненасильственных действий должны избегать всех трех разновидностей насилия. О первых двух мы уже сказали. Структурного насилия также необходимо избегать. За объяснениями далеко ходить не надо. Структурное насилие — это как раз то, чему противостоят и что хотят изменить сторонники ненасилия. Даже если вы не относите структурное насилие к насилию как таковому, предпочитая, как и Коуди,

11 Если вернуться к политическому контексту, Ханна Арендт в эссе «О насилии» тоже утверждает, что насилие всегда преднамеренно. В частности, оно совершается с намерением добиться неких целей в ситуациях, когда другие средства не работают. См.: [Арендт 2014].

называть его социальной несправедливостью, оно остается объектом ненасильственного сопротивления. Египтяне, протестовавшие на площади Тахрир, хотели положить конец насилию (или социальной несправедливости) режима Мубарака; эстонцы стремились положить конец насилию, сопряженному с советской оккупацией; многие участники движения «Захвати Уолл-стрит» стремились прекратить структурное насилие, ассоциируемое с экономической системой, где некоторые процветают, в то время как большинство едва сводит концы с концами. Во всех этих примерах мы имеем дело со структурным насилием (или опять же социальной несправедливостью), пусть даже, как в первых двух случаях, речь идет одновременно и о сопротивлении физическому и психологическому насилию.

Более классический пример ненасильственного сопротивления структурному насилию — это движение за гражданские права чернокожих в США. Марши, сидячие демонстрации, борьба против сегрегации в транспорте и т.д. — все это были попытки ненасильственными методами бороться с системой, отказывавшей афроамериканцам на Юге в гражданских правах. Разумеется, сегрегации в южных штатах сопутствовали многочисленные формы физического и психологического насилия, от суда Линча до унижений. Но основная проблема заключалась в самой системе. Афроамериканцы были включены в социальную, политическую и экономическую систему, где считались гражданами второго сорта — без избирательного права, без права есть, где им нравится, сидеть в общественном транспорте, где им хочется, получать образование в хороших школах и университетах, устраиваться на хорошую работу и т.д. Система совершала структурное насилие над афроамериканцами. И именно структурному насилию надо было сопротивляться. Поэтому участвовать в структурном насилии означало поощрять явление, которому движение за права чернокожих стремилось положить конец, пусть даже насилие приняло бы при этом иную форму.

Таким образом, сторонники ненасильственных действий и акций избегают физического, психологического и структурного насилия. Вернемся теперь ко второму вопросу: есть между этими тремя формами насилия что-либо общее, позволяющее причислить их к одной категории, категории насилия? В своей книге о насилии и социальной справедливости Буфаччи предлагает определение насилия, которое, как он надеется, охватит разные категории насилия. Его определение шире, чем определение Оди, так как Буфаччи стремится включить в него структурное насилие.

Акт насилия имеет место, когда преднамеренно или непреднамеренно, в результате действия или бездействия нарушается неприкосновенность или целостность субъекта (человека или животного) либо объекта (собственности). Такое нарушение может происходить на физическом или физиологическом уровне, в результате физического или психологического воздействия. Нарушение неприкосновенности обычно приводит к нанесению ущерба или травме субъекта либо к уничтожению или повреждению объекта [Ibid.: 43—44].

Структурное насилие подпадает под это определение, так как в него включено не только действие, но и бездействие, причем не только преднамеренное, но и непреднамеренное, однако, как мы уже видели, Буфаччи полагает, что последствия любых подобных действий предсказуемы, а не случайны. Представьте, например, такой акт предсказуемого, но непреднамеренного насилия: банкир отказывает кому-либо в праве выкупа закладной на дом, зная, что тем самым

доведед владельца дома до нервного срыва, хотя и не стремясь к таким последствиям, — он совершает акт насилия. Мы можем сделать следующий шаг. Предположим, я поддерживаю существование банков, отказывающихся в праве выкупа закладных на дом, а широко известно, что тактика пагубно сказывается на психическом здоровье людей. Тогда я тоже причастен к насилию, и такое насилие мы назовем структурным.

В характеристике, которую Буфаччи дает насилию, основная нагрузка ложится на слово «неприкосновенность». «Когда я определяю насилие как нарушение неприкосновенности, — пишет Буфаччи, — я употребляю слово “неприкосновенность” исключительно в нефилософском смысле, как синоним целостности и нетронутости» [Ibid.: 40]. Понимая неприкосновенность таким образом, Буфаччи, по его собственным словам, опирается на более раннего автора Джеральда Маккаллума, тоже определявшего насилие как нарушение неприкосновенности. В статье «Что не так с насилием» Маккаллум связывает понятие неприкосновенности не только с невредимостью тела, но и с самостоятельностью личности. «Когда речь идет о неприкосновенности человека, обычно на первый план выходит аспект самостоятельности, связанный прежде всего со способностью человека определять, что с ним будет происходить» [MacCallum 2009: 126]. Таким образом, неприкосновенность — это сохранение целостности личности, которая решает, что с ней будет происходить, а что нет.

Когда мы смотрим на насилие с такой точки зрения, не следует, разумеется, чересчур широко понимать «способность определять, что со мной будет происходить». Например, нет никакого насилия в том, что кто-нибудь подойдет и заговорит со мной без моего разрешения или протянет мне книгу, которую я не просил. Маккаллум рассматривает пример куда более серьезного вмешательства — ампутации. Поэтому «я», с которым нечто происходит, следует понимать в более глубоком смысле, что, как сознает и сам Маккаллум, вызывает некоторые затруднения. Буфаччи пытается передать эту мысль образами целостности и нетронутости. Если кто-то заговаривает со мной без спроса или протягивает мне книгу, целостность моей личности от этого не страдает, как это произойдет, если в меня будут стрелять или подвергнут психологическому надругательству, например в форме публичного унижения. Посягательство происходит и в том случае, если я не могу адекватно себя обеспечить, что говорит о возможности структурного насилия.

Мы должны помнить, что и Маккаллум, и Буфаччи, как и Оди, Галтунг и Коуди, стремятся определить насилие как таковое, а не просто насилие, которому противопоставит ненасилие. Поэтому они говорят о более широком понятии. Можно задаться вопросом, не получается ли их определение — определение насилия во всем его многообразии — слишком широким. Представьте себе, например, что разводятся супруги, один из которых находится в эмоциональной зависимости от другого, и развод годами разрушительно сказывается на психике зависимой стороны. После развода человек, скажем, надолго впадает в депрессию, не может строить отношения с другими, на протяжении многих месяцев не в состоянии нормально работать. В концепции Буфаччи этот случай можно было бы считать нарушением неприкосновенности. Однако я подозреваю, что мы вряд ли назовем развод актом насилия<sup>12</sup>. Проблема в том, что

12 Я признателен Кэндис Дельмас за этот пример, который она привела в ответ на мою более раннюю попытку предложить общее определение насилия.

нанести ущерб неприкосновенности можно разными способами. Не всегда их правомерно классифицировать как насилие.

Буфаччи мог бы отстаивать свое определение в примере с разводом, заявив, что, пусть развод и *нанес ущерб* неприкосновенности одного из супругов, он ее не *нарушил*. Тогда, конечно, нам пришлось бы углубиться в разницу между нарушением и ущербом. Буфаччи предоставляет нам инструментарий для таких размышлений, когда говорит, что насилие происходит в результате действия или бездействия, но что действие или бездействие, даже не намеренные, должны по меньшей мере повлечь за собой предсказуемые последствия для неприкосновенности человека. В качестве примера он приводит предсказуемую смерть пожилой женщины от гипотермии в то время, когда ее внук с женой отдыхают в Венеции, и отмечает, что «любой здравомыслящий, объективный и разумный человек согласится, что с точки зрения морали нет разницы между убийством своей бабушки и тем, чтобы уехать отдыхать с теми же последствиями» [Bufacchi 2007: 58–59].

Однако неясно, насколько это пояснение поможет нам в примере с разводом. Даже если последствия развода были предсказуемы, является ли сам акт развода насилием над другим человеком? Едва ли. Проблема по-прежнему в том, насколько широко мы понимаем насилие. Нарушения, о которых говорит Буфаччи и к которым он относит в том числе предсказуемые упущения (бездействие), позволяют говорить о насилии чаще, чем большинство из нас сочли бы разумным. Его определение, несомненно, уже, чем определение Галтунга, но как определение насилия оно все же представляется слишком широким.

Впрочем, пример с разводом ставит под вопрос адекватность определения Буфаччи в той мере, в какой оно относится к *любому* насилию. Нас же сейчас интересует более узкий вопрос. Даже если это определение не работает как определение насилия вообще, описывает ли оно тип или типы насилия, отвергаемые сторонниками ненасильственных действий и акций? В конце концов, среди стратегий ненасильственных акций не значится ни развод, ни отъезд в отпуск, так, может быть, это определение способно послужить фоном для анализа насилия?

Думать о насилии в терминах неприкосновенности, а о неприкосновенности в терминах возможности «определять, что со мной будет происходить», соблазнительно. Такое представление передает идею, что участники ненасильственных действий или акции должны проявлять некоторое уважение как к своим противникам, так и к сторонним наблюдателям. Вместе с тем эта концепция подразумевает, что ненасильственная акция не может быть принудительной. В конце концов, принуждение лишает человека самостоятельности, не давая ему решать, что с ним будет происходить, а значит, не давая ему определять свое будущее. Когда человека принуждают к чему-либо, ему не дают действовать так, как он действовал бы без принуждения. Избранный им образ действий невозможен или по крайней мере серьезно затруднен. Таким образом, принуждение к действию посягает на самостоятельность.

Сопряжено ли насилие с принуждением? Зачастую да, причем нередко это сознательный шаг. Вспомним бойкот автобусных линий в Монтгомери в 1955 году, объявленный чернокожим населением после ареста Розы Паркс, отказавшейся пересесть в заднюю часть автобуса, как тогда требовали от афроамериканцев в южных штатах. Цель бойкота состояла в экономическом давлении на автобусные компании Монтгомери и на общественные институты,

позволявшие этим компаниям заниматься сегрегацией пассажиров. Это была попытка не просто воззвать к совести, а надавить на компании и государственные институты. И она оказалась успешной именно благодаря принуждению, так как федеральный суд в конечном счете принял решение об отмене сегрегации в автобусах.

Был ли бойкот формой принуждения? Его цель заключалась не только в том, чтобы привлечь внимание к вопиющей дискриминации, заставлявшей афроамериканцев сидеть в задних рядах автобуса, хотя такая задача, безусловно, ставилась. Но цель была и в том, чтобы принудить автобусные линии в Монтгомери прекратить сегрегацию, если не полностью, то хотя бы частично. И этого удалось добиться. Верховный суд США объявил, что сегрегация в автобусах противоречит конституции, и автобусным компаниям пришлось отменить сегрегацию.

Разумеется, не всегда ненасилию сопутствует или должно сопутствовать принуждение. Движение «Захвати Уолл-стрит» стремилось привлечь внимание к несправедливому распределению богатства в США, но не прибегало ни к каким механизмам принудительных изменений. А вот протестующие, занявшие площадь Тахрир, прибегали. Бросая вызов режиму Мубарака, они хотели не просто привлечь внимание к его правлению, а положить ему конец, отказавшись от сотрудничества с ним. Так что ненасильственные действия могут включать в себя принуждение, а значит, и посягательство на самостоятельность, о котором говорит Маккаллум<sup>13</sup>.

Можно ли, вслед за Буфаччи понимая насилие как нарушение неприкосновенности, при этом признавать возможность ненасильственных действий, предполагающих принуждение, но все же отвергающих насилие? Я думаю, что да. Чтобы пояснить свою мысль, я воспользуюсь словом «достоинство».

В своей книге «Достоинство» Майкл Розен прослеживает историю этого понятия [Rosen 2012]. Он выделяет три основных направления в его истории, а затем предлагает четвертое. Первое связано с историей католицизма и с представлением о достоинстве как о врожденном даре человека, возвышающем его над другими живыми существами. Второе — привычное нам кантовское понятие достоинства как ценного внутреннего качества, которым наделены те, кто обладает разумом, а значит, является носителем морального закона. Третье — достоинство как характеристика поведения, умение держаться с достоинством. Наконец,

из третьего значения, представления о достоинстве как достойном поведении, вытекает четвертое: взгляд на достоинство, предполагающий, что относиться к кому-либо достойно — значит относиться к нему с уважением. Вместо того чтобы в знак уважения к достоинству уважать базовые права, необходимо уважать

---

13 Смешение принуждения и насилия мы наблюдаем в работе Аллана Бека «Мыслить о насилии четко» [Bäck 2004]. В результате он приходит к несостоятельному выводу: «Можно ли сказать, что все формы пассивного сопротивления, все ненасильственные стратегии основаны на насилии и потому *prima facie* аморальны? Да» [Ibid.: 227]. Можно было бы подумать, что этот вывод — доведение до абсурда предшествующей ему аргументации, однако Бек не дает истолковать свой тезис таким образом, ошибочно характеризуя фрагмент из работы Ганди, где оговаривается различие между ненасилием и пассивным сопротивлением, как признание в том, что ненасилие насильственно [Ibid.].

само достоинство. Таким образом, право на уважение к своему достоинству — особое право, хотя и очень важное, а не основа прав в целом [Ibid.: 61—62].

Думаю, сторонники ненасильственных действий стремятся продемонстрировать достоинство именно в этом четвертом смысле, о котором пишет Розен, а посягательство на него — тот особый род насилия, которого они избегают. Более того, возможно, именно посягательство на достоинство в этом смысле, вероятно, имеет в виду Буфаччи, когда говорит, что насилие нарушает неприкосновенность другого человека. Как пишет Роберт Холмс:

Люди заслуживают безоговорочного уважения, и каждый человек вправе требовать от тех, чье поведение может на него повлиять, относиться к нему так, чтобы не уничтожать его. Последнего можно добиться, если отнять у него свободу, унижить его или лишить уверенности в себе, причем для всего этого необязательно прибегать к физическому насилию. В большинстве случаев такой эффект достигается посредством едва уловимых форм личного и социального взаимодействия, поскольку именно в этих областях люди, как правило, наиболее уязвимы [Holmes 1971: 111]<sup>14</sup>.

Однако следовало бы еще уточнить эту мысль. Что значит относиться к другому без уважения?

В широком смысле это значит не признавать за другим права жить своей жизнью, которую, пусть даже она не защищена от принуждения, следует по крайней мере принимать всерьез, как человек принимает всерьез собственные поступки. И наоборот, уважать другого означает относиться к нему всерьез. Нарушением неприкосновенности, как его понимает Буфаччи, будет неумение уважать чужое достоинство, то есть образ действий, не принимающий во внимание, что у других людей своя жизнь и они не просто средства достижения чьих-то целей.

Идея уважать право других на собственную жизнь представляется несколько туманной, но, пожалуй, не безнадежна в этом плане. У нас есть представление о том, что для человека в целом значит жить: участвовать в проектах и поддерживать отношения, развивающиеся с течением времени; осознавать свою смерть, влияющую на восприятие собственной жизненной траектории; иметь биологические потребности, в частности в пище, убежище и сне; иметь базовые психологические потребности, например в заботе и в чувстве привязанности к окружающей обстановке. К тому же у нас формируется представление о жизни и потребностях разных животных, что помогает нам выстраивать ненасильственные отношения с ними.

Я не имею в виду, что любая жизнь, человеческая или нет, протекает одинаково. Люди живут по-разному, и, взаимодействуя с ними, мы часто осознаем различия в тех или иных аспектах и можем оценить, насколько они велики. Уважение к праву конкретных других жить своей жизнью не означает готовности уступать любому их желанию. Если бы это было так, ненасильственное принуждение было бы невозможно. Теоретик ненасилия Барбара Деминг

---

14 Холмс полагает, что неуважение к людям — форма психологического насилия, поэтому относит то, что мы здесь называем структурным насилием, к насилию психологическому. Это эссе переиздано в уже упоминавшемся сборнике [Holmes 2013: 149—168].

в эссе «О революции и равновесии», одной из ключевых ее работ, где она утверждает, что ненасильственное «равновесие», как и ненасилие, требует агрессии или самоутверждения, пишет: «Помешать другому действовать вполне можно, не причиняя ему вреда... Не давая человеку реализовать свободу убивать или помогать убивать другим, мы не совершаем никакого насилия над его личностью» [Deming 1981: 14—15]. (Одна из моих задач состоит в том, чтобы понять, что означает употребляемое Деминг слово «вред».) В данном случае уважение предполагает, что, даже если мы посредством ненасильственных действий препятствуем другим осуществлять какие-то свои желания, перед этими другими открыта дорога для участия в осмысленных инициативах без риска психологических или физических оскорблений либо утраты доступа к продуктам первой необходимости.

Такой взгляд на уважение достоинства других контрастирует с более субъективной точкой зрения того же Маккаллума, полагающего, что самостоятельность зависит от желания конкретного человека. Дело в том, что если мы допустим такую субъективность, то ненасильственное принуждение по определению окажется насилием. Само существование принуждения будет посягательством на самостоятельность, а значит, насилием. Надеюсь, что эта концепция отражает и выдвигаемую Буфаччи идею неприкосновенности, так как точнее объясняет, какого рода целостность или нетронутость требуется оберегать, если мы не хотим посягать на неприкосновенность.

Здесь я должен в скобках заметить, что такой взгляд на достоинство во многом близок кантианскому, но с одним важным отличием. Он совпадает с позицией Канта в том, что достоинство необходимо уважать и что неуважение часто выражается в использовании другого как средства достижения своих целей, но основания достоинства видит не в разуме. Кант полагает, что, уважая достоинство других, мы уважаем в них способность разумно мыслить, а значит, действовать в соответствии с тем, что он называет нравственным законом, который для него является исключительно вопросом разума. Я же в данном случае говорю не столько о рациональности, сколько о том, что любая жизнь имеет свои формы и траектории и что, уважая другого, мы признаем за ним такое право, пусть даже не всегда согласны с избранной им конкретной формой или траекторией. Я не хочу сказать, что этот род уважения не опирается на разум или не считается с ним. Формирование различных проектов и отношений обычно требует участия разума, пусть даже не чистого разума, как его понимал Кант. Однако, говоря об уважении не к разуму, а, шире, к траектории жизни другого, мы можем размышлять о человеческой — равно как и нечеловеческой — жизни в контексте ненасильственного действия более обобщенно.

Такой масштаб позволяет нам также понять, что общего между тремя рассматриваемыми здесь типами насилия: физическим, психологическим и структурным. Физическое насилие, очевидно, не признает за жертвой права жить своей жизнью. Другой для него лишь объект ненависти или средство достижения собственных целей. Проявляется это, как правило, двояко. Во-первых, сопряженное с физическим насилием принуждение выражается в неуважении к другому. Физическое насилие не исходит из того, что, даже если другого необходимо к чему-то принудить, сделать это следует так, чтобы предоставить ему или ей максимум возможностей продолжать жить как прежде, — оно врывается в чужую жизнь, не оглядываясь на эти возможности. Во-вторых, во многих культурах физическое насилие унизительно и наносит психологические

травмы. Жертве становится трудно ориентироваться во внешнем мире. Для жертвы физического насилия мир превращается в опасное место, где трудно осуществлять какие-либо замыслы, не испытывая страха.

Конечно, это относится не к любому физическому насилию. Скажем, физическое насилие, сопряженное с такими видами спорта, как бокс или регби, вряд ли помешает его объекту по-прежнему жить своей жизнью. В целом можно предположить, что, если человек подвергается физическому насилию добровольно, оно не окажет на него воздействия, которое я только что описал, — но могут быть и исключения. (И некоторые, вероятно, возразят, что насилие в спорте, как я его называю, на самом деле не насилие, потому что люди подвергаются ему по своей воле, — довод, который здесь нет необходимости разбирать.) Вспомним еще раз, что наша задача — охарактеризовать не насилие в целом, а лишь то насилие, которого стремятся избежать сторонники ненасильственных действий. В ситуации ненасильственных действий или акции оппоненты или сторонние наблюдатели не стали бы подвергаться насилию по доброй воле, поэтому о насилии — если это действительно насилие, — сопутствующем некоторым видам спорта или другим занятиям, речь не идет.

Можно попробовать настоять на решении этой проблемы и задаться вопросом, допускает ли изложенная здесь точка зрения некий странный случай, когда противник по своей воле готов подвергнуться насилию или даже стремиться к этому. Такое возможно, если противник пытается спровоцировать насилие, причем насилие над собой, чтобы дискредитировать ненасильственную акцию. В таком насилии, по-видимому, не будет неуважения к достоинству другого. Оно, как ни странно, даже поможет жертве насилия достичь желаемого. Можно ли в таком случае сказать, что представленная точка зрения допускает, вопреки механизмам ненасилия, физическое насилие?

Думаю, на этот вопрос следует ответить отрицательно. Дело даже не в той простой причине, что человек, которого провоцируют, не знает, что это провокация, а значит, относится к противнику без уважения. Человек, *выражающий* неуважение к достоинству другого, необязательно делает это *намеренно* — тема, к которой мы еще вернемся, когда будем говорить о структурном насилии. Если это так, проблема в данном случае не в намерении вести себя неуважительно по отношению к противнику, а в чем-то еще. Она носит скорее косвенный характер. Позволяя спровоцировать себя на физическое насилие, человек своими действиями показывает, что ненасильственные действия не свободны от неуважения к достоинству других. Хотя в конкретных обстоятельствах речь, возможно, и не идет о неуважении к конкретной жертве физического насилия, сам факт, что человек допускает физическое насилие по отношению к противникам, свидетельствует о неуважении и к тем противникам, которые не стремились спровоцировать насилие.

Еще одна сложность, связанная с физическим насилием, заключается в крайне непростою вопросе самообороны. Можно ли защищаться от другого, прибегая к насилию, и вместе с тем уважать его достоинство? Можно ли физически напасть на другого и при этом всерьез относиться к его праву жить своей жизнью? Если да, моя позиция нерелевантна, поскольку ненасилие предполагает, что человек не атакует других физически, даже ради самообороны.

Возникает искушение сказать, что любая форма самообороны с применением насилия предполагает явную утрату уважения к достоинству того, кто подвергается нападению. Я не имею в виду, что такая самооборона не оправ-

дана. Является ли действие ненасильственным и оправдано ли оно — два разных вопроса, если только вы не пацифист. Я хочу сказать не что неуважение к другому, проявляющееся в самообороне с применением насилия, не оправдано, а лишь что самооборона с применением насилия свидетельствует о неуважении. Человек вынужден обращаться для самозащиты к насилию, когда он может сохранить собственную физическую неприкосновенность, только проявив неуважение к другому. Это прискорбное, но неизбежное следствие подобных ситуаций, что и делает вопрос о самообороне таким сложным. Разумеется, самооборона может принимать разные формы, и защищаться с минимальным применением силы, необходимым, чтобы отразить атаку, в каком-то смысле означает проявлять к другому некоторое уважение. Тем не менее необходимость подвергать другого физическому воздействию ради самозащиты или ощущение такой необходимости требует по меньшей мере на время отказаться от уважения к достоинству других, сопряженному, как я уже показал, с ненасилием.

Если мы обратимся ко второй форме насилия, психологическому насилию и издевательскому обращению, мы, отталкиваясь от нашего анализа физического насилия, увидим, что здесь все просто. Психологическое насилие всегда предполагает неуважение к достоинству другого, потому что всегда покушается на его достоинство, отрицая, что другой имеет право жить своей жизнью. Поэтому, хотя сторонники ненасилия стремятся избегать в первую очередь физического насилия, можно сказать, что психологическое насилие еще больше противоречит природе ненасильственного движения.

Нельзя, впрочем, утверждать, что идея психологического насилия не сопряжена ни с какими сложностями. В частности, если в случае с физическим насилием мы редко затрудняемся установить тот факт, что оно произошло, то случаи психологического насилия оценить не так просто. В особенности это касается ненасильственных акций, часто направленных на принуждение. Напрашивается вопрос: как же разграничить ненасильственное принуждение и психологическое насилие? Вопрос важный, но подозреваю, что ответить на него можно только применительно к конкретной ненасильственной акции. Мне кажется, что между ними нельзя провести безупречную с философской точки зрения границу. Предполагается, что тот, кто действует ненасильственно, сознает эту проблему и старается противостоять своим оппонентам, не посягая на их достоинство, то есть право вести осмысленную жизнь. В данном случае это скорее вопрос здравого смысла и чуткости, а не каких-либо критериев, даже столь нечетких, с какими мы здесь имеем дело.

Случай структурного насилия — самый сложный из трех, потому что между агрессором и объектом насилия не возникает непосредственных отношений. Более того, «агрессором» мы в таких случаях скорее назовем систему, а не человека. Но, хотя мы будем правы, это не вся правда. Точнее будет сказать, что в случае структурного насилия непосредственное насилие исходит от некоторых социальных и политических структур, тогда как некоторые люди косвенно причастны к насилию, поскольку поддерживают эти структуры. Непосредственное насилие, осуществляемое этими структурами, выражается в положениях, в которые они ставят людей, — в ситуациях, когда к людям относятся так, будто их жизнь не имеет никакого значения, воспринимая ее как расходный материал или средство для улучшения жизни других. Классический пример — рабство, которое не только подвергает людей физическому и психоло-

гическому насилию, но и представляет собой систему, где с рабами обращаются скорее как с имуществом, чем как с личностями с собственной жизнью, замыслами и отношениями.

Другой пример — южные штаты США в период, когда действовали «законы Джима Кроу». Притом что совершалось, безусловно, множество актов физического и психологического насилия, коренилось оно прежде всего в системе, где афроамериканцы считались, как это называлось, гражданами второго сорта. Гражданство второго сорта в данном случае лишало возможности получить качественное образование, затрудняло доступ к профессиональной занятости, запрещало жить в лучших районах и домах, не давало избирательного права, было сопряжено с унижительным требованием уступать белым места в автобусах, дорогу на улице и т.д. Социальные, политические и правовые структуры американского Юга при «законах Джима Кроу» были устроены так, что к афроамериканцам относились не как к независимым личностям с собственной жизнью, а как к средству сделать более удобной жизнь белых в южных штатах.

Можно задаться вопросом, не противоречит ли здравому смыслу сама идея системы, угнетающей людей. Проще понять, как один человек может совершать насилие над другим, чем как это делает некая структура. Что такое структура, если она способна осуществлять насилие над человеком? Мы, однако, не должны воспринимать структуры как некие зловещие сущности. Структура не более чем определенный набор социальных, политических, культурных и экономических практик. В каком-то смысле это образ жизни. Как мы называем гнетущей атмосферу в какой-нибудь семье не потому, что там существует некая атмосфера, угнетающая людей, а потому что в этой семье ведут себя так, что там трудно почувствовать себя свободно, так и насильственная структура представляет собой набор практик, мешающий некоторым людям жить своей жизнью, как если бы она имела какую-то ценность.

В этом плане структуры могут быть насильственными. Но люди, вовлеченные в эти структуры, тоже бывают причастны к насилию, только косвенно. Поддерживая «законы Джима Кроу» за счет того, что они платили налоги расистским государственным институтам, или голосовали за политиков, выступающих за сегрегацию, или просто не относились к системе критически, многие белые косвенно участвовали в насилии над своими чернокожими согражданами. Опять же я не хочу сказать, что не было актов прямого насилия. Их было множество. Известно, например, немало случаев линчевания в период действия «законов Джима Кроу». Но в придачу к этим актам — способствовавшим сохранению структурного насилия — многие поддерживали структурное насилие на Юге, своей жизнью содействуя отсутствию у других возможности жить нормально.

Отсюда следует, что люди могут совершать насилие над другими не только косвенно, но и непреднамеренно. Мы уже сталкивались с этим, когда говорили о психологическом насилии, но там это более редкое явление. При структурном насилии люди часто не сознают, что способствуют неуважению к достоинству других. В ситуациях структурного насилия вообще много самообмана, мешающего людям ясно видеть, что они содействуют насилию. Он принимает разные формы: отсутствия непосредственных наблюдений за счет физической сегрегации по разным районам, идеологических оправданий («эти люди не способны на такие достижения, как у нас»), иллюзии товарищества («среди

моих лучших друзей есть негры») или просто нежелания вдуматься в ситуацию, поддержанию которой человек способствует. Самообман не понадобился бы, если бы люди не пытались защититься от чувства ответственности за структурное насилие, к которому они причастны. Можно сказать, именно потому, что люди попадают (или ставят себя) в положение, делающее их невольными участниками структурного насилия, само структурное насилие по-прежнему существует.

Здесь можно задать другой вопрос, идущий еще дальше утверждения Буффаччи, что насилие бывает не только преднамеренным, но и предсказуемым: можно ли совершить насилие случайно? В конце концов, коль скоро люди могут способствовать насилию, не имея такого намерения, разве не может быть, чтобы они делали это, сами того не понимая?

Рассмотрим простой пример. Представьте себе ненасильственную сидячую демонстрацию, участники которой преграждают дорогу, ведущую к военной базе, где проходят учения перед вторжением в другую страну. Протестующие не знают, что по той же дороге пыгается проехать скорая помощь, но из-за скопления машин ей не удается прорваться, поэтому образовавшаяся пробка приводит к смерти пациента. Станет ли ненасильственный протест от этого насильственным?

Нетрудно догадаться, какие выводы следуют отсюда для понимания структурного насилия. Если мы ответим отрицательно, тогда, как утверждает Буффаччи, то, что называется структурным насилием, должно быть по крайней мере предсказуемо с точки зрения тех, кто в нем участвует, иначе это вовсе не насилие. А если мы ответим утвердительно, тогда многие ненасильственные протесты окажутся насильственными без вины протестующих. От них по большей части даже не зависит, насильственные они или нет. Можно планировать ненасильственный протест, предусмотрев самые разные обстоятельства, и все равно есть риск, что какая-нибудь непредвиденная случайность обратит его в насильственный.

Откровенно говоря, я не уверен, что здесь правильнее. У меня самого противоречивые чувства на этот счет. С одной стороны, мысль, что ненасильственный протест могут назвать насильственным исключительно из-за какого-то происшествия, не имеющего к нему прямого отношения, кажется ошибочной. С другой — мне представляется, что способствовать структурному насилию можно, даже не имея разумных оснований это предвидеть. Люди, в силу разных обстоятельств не сознающие, что их действия способствуют благополучию других, могут тем не менее способствовать ему, участвуя в структурном насилии. И с третьей стороны, я не уверен, что можно привести какой-то довод в пользу того, чтобы выделить структурное насилие — не переставшее, однако, быть насилием — в особую категорию насилия, которому можно содействовать случайно, тогда как на ненасильственные протесты эта логика не распространяется.

По счастью, нет необходимости отвечать на этот вопрос, чтобы определить, к чему *стремится* ненасилие. В ненасилии главное то, что оно отвергает насилие в любой форме: физическое, психологическое и структурное. С первыми двумя все ясно, а в отношении третьего принципы будут аналогичными. Ненасильственные действия и акции так или иначе направлены на то, чтобы дать людям осмысленно строить свою жизнь. Если ненасилие добивается этого путями, способствующими структурному насилию, оно перечеркивает саму суть

своих побуждений. Ненасилие не утверждает достоинство *конкретной* категории людей (или животных). Оно утверждает достоинство всех людей (и соответствующих животных). Если сторонники ненасильственных действий отвергают насилие над своими противниками, тем более они должны отвергать насилие над сторонними наблюдателями и другими людьми, которых могут затрагивать их действия. Иначе говоря, если следует уважать тех, против кого ведется ненасильственная борьба, как людей, имеющих право жить своей жизнью, надо уважать и всех, кого эта борьба может затронуть. Таким образом, ненасилие должно избегать не только физического и психологического, но и структурного насилия.

Прежде чем перейти к более конкретному определению насилия, стоит отметить, что я здесь понимаю структурное насилие *уже*, чем Галтунг. Как мы помним, для него «насилие имеет место, когда на людей оказывают такое воздействие, что они не реализуют в полной мере потенциала своих физических и ментальных возможностей», а само насилие — «то, что увеличивает дистанцию между потенциальным и наличным, и то, что препятствует сокращению этой дистанции». При таком подходе получается очень широкое определение структурного насилия, к недостаткам которого привлекает внимание Коуди, приводя в качестве примера мальчика, своим поведением выматывающего отца, или человека, который просит дать ему снотворное, зная, что оно помешать ему полноценно функционировать. Предложенное мной определение насилия — точнее, описание того типа насилия, которого ненасилие стремится избежать, — *уже* определения Галтунга. Оно не включает в себя действия, мешающие другому реализовать свой потенциал, если не говорить о нежелании признать за другими права жить своей жизнью. Поэтому в данном случае к структурному насилию, главному предмету разногласий между Галтунгом и Коуди, возражения Коуди не относятся, хотя не исключено, что сам он все равно предпочел бы называть социальной несправедливостью то, что я здесь обозначил как «структурное насилие». Если мы понимаем, чего именно стремится избежать ненасилие, это вопрос чисто семантических предпочтений. Я предпочитаю этот термин по причине сходства структурного, физического и психологического насилия и семантической четкости противопоставления всех этих видов насилия действиям и акциям, которые считаются ненасильственными.

Теперь, когда у нас есть характеристика насилия, отвергаемого сторонниками ненасильственных действий, мы можем перейти к определению самого ненасилия. Как я упомянул в начале текста, нельзя определять ненасилие только через отрицание, как отсутствие насилия. Если бы ненасилие было равнозначно отсутствию насилия, можно было бы сказать, что я действую ненасильственно, когда сплю или принимаю душ. Однако ненасилие — это вид деятельности, точнее, набор практик, направленных на изменение существующего порядка, будь то политического, экономического или общественного. Таким образом, мы можем определить ненасилие как *политическую, экономическую или общественную деятельность, направленную на изменение существующего политического, экономического или общественного порядка либо сопротивление ему и основанную на уважении к достоинству (в оговоренном выше смысле) ее участников, противников и других людей.*

Следует сделать несколько оговорок относительно этого определения. Во-первых, оно не делает различия между ненасильственными действиями и не-

насильственной акцией. В тексте я использовал оба термина. Не следует считать, что акция — просто серия действий, хотя это тоже справедливо. Ведь акции, если они проводятся должным образом, представляют собой организованные и спланированные мероприятия. Социологи Эрика Ченовет и Мария Стефан, чья книга «Почему гражданское сопротивление работает» посвящена подробному анализу неповиновения на протяжении столетия, определяют мирную акцию как «серию заметных, непрекращающихся действий, направленных на достижение политической цели» [Chenoweth, Stephan 2011: 14]. Действия, составляющие акцию, связаны внутренними отношениями. Для простоты я буду называть и то, и другое ненасилием, хотя этим словом чаще обозначают акции, а не просто отдельные действия.

Во-вторых, ненасилие не ограничивается сферой политики, если только мы не понимаем эту сферу чрезвычайно широко (против чего у меня нет возражений). Примерами ненасилия могут служить экономические бойкоты — в зависимости от того, как они проводятся. К ненасилию можно отнести и попытки изменить некоторые социальные установления. Например, в 1924 году проводилась акция (к которой мы тоже еще вернемся) с целью отменить запрет для «неприкасаемых» в Индии передвигаться по дороге, проходящей в непосредственной близости от храма в городе Вайком в области Траванкор на юго-западе Индии. В акции участвовали сами «неприкасаемые» и те, кто выступал в их поддержку: они передвигались по этой дороге и позволяли избивать себя браминам, которым это не нравилось, а потом и полицейским, забаррикадившим дорогу. Кроме того, в сезон дождей протестующие стояли перед баррикадой, часто по плечи в воде. В конце концов они добились победы, поставив под сомнение кастовую систему, характерную для индуистской культуры в Индии и в первую очередь вызывавшую нарекания оппозиции Ганди<sup>15</sup>.

Наконец, фраза «уважение к достоинству ее участников, противников и других людей», призванная отсылать к предшествовавшему этому определению анализу насилия, обходит стороной вопрос о том, возможно ли случайное насилие в ходе ненасильственных действий или акции. Как я уже сказал, я не готов однозначно ответить на этот вопрос, что нашло отражение в определении ненасилия.

Некоторым это определение может показаться чересчур широким. Например, если кто-то пишет письмо члену Конгресса, оспаривая его или ее позицию по конкретному политическому вопросу, он, в общем-то, совершает ненасильственный акт. Однако мы обычно иначе представляем себе ненасилие. Как можно сравнить письмо члену Конгресса и песенное сопротивление эстонского народа или мужественное собрание протестующих на площади Тахрир? На первый взгляд, между этими действиями нет ничего общего.

Под ненасильственным сопротивлением мы действительно привыкли понимать нечто более возвышенное и грандиозное, нежели писание писем. Но это не значит, что такого рода формы деятельности надо исключать из категории ненасилия. Письма часто составляют одну из стратегий ненасильственных акций наряду с более заметными действиями, когда, например, люди занимают какую-либо территорию и публично протестуют. Можно сказать, что,

---

15 См. описание этой акции: [Bondurant 1988: 46–52].

если человек, пишущий письмо члену Конгресса, не вовлечен в более широкую акцию, он не участвует в последовательных ненасильственных акциях, которые мы здесь рассматриваем, но это не значит, что само по себе такое действие нельзя расценивать как ненасильственное сопротивление. На худой конец мы можем сказать, что это не слишком интересный его пример.

Кому-то это определение ненасилия покажется слишком широким в другом смысле. Допустим, например, что ненасильственная демонстрация блокирует вход в здание, где размещается штаб-квартира компании, производящей ядерное оружие. (Когда я жил в Питтсбурге, мы отмечали День Хиросимы, устраивая лежащую акцию протеста у штаб-квартиры «Rockwell», на короткое время перекрывая вход.) Если такое препятствие мешает людям попасть на работу или выйти из здания, разве демонстранты не выражают неуважение к их праву на собственную жизнь?

Не выражают. Вспомним о различии между тем, чтобы признавать за людьми право жить своей жизнью, и тем, чтобы разрешать им делать все, чего они захотят. Ненасилие совместимо с некоторыми формами принуждения. Если в результате блокировки входа в здание люди останутся без работы, тогда можно говорить о неуважении. Однако такое случается редко, тем более в случае со штаб-квартирой компании. Даже если заблокировать вход на более длительный период, люди скорее потеряют работу из-за увольнений, чем из-за действий демонстрантов. Совсем другое — перекрыть вход в небольшой частный продовольственный магазин, где длительная блокировка, скорее всего, приведет к тому, что его работники лишатся средств к существованию, а часто и к тому, что им трудно будет найти другую работу. (Проведение демонстрации перед таким магазином, например в знак протеста против продажи в нем израильских товаров вопреки требованиям кампании «Boycott, Divestment, and Sanctions», не будет насилием, потому что не помешает людям зарабатывать на жизнь.)

Можно задаться и другим вопросом: не следует ли участникам ненасильственных акций воздерживаться не только от насилия, но и от *угроз* насилием? Возьмем, например, тот момент в борьбе Эстонии за независимость, когда советские войска окружили Таллинскую телебашню и эстонский полицейский Юри Юст пригрозил пустить фреон, который убил бы и его самого, и военных. Угроза подействовала, на какое-то время удержав войска на расстоянии, но был ли это ненасильственный акт? Можно сказать, что да, потому что никто не пострадал физически, психологически и уж тем более на системном уровне. Однако есть нечто лицемерное в том, чтобы допускать, что участники ненасильственного сопротивления могут угрожать причинить вред, даже если не собираются этого делать. В конце концов, разве действенность таких угроз не обусловлена тем самым насилием, которое ненасилие должно отвергать?

Думаю, на эту проблему можно смотреть двояко, но в обоих случаях мы придем к выводу, что ненасилие обязано отвергать не только насилие, но и угрозы им. Первый аргумент заключается в том, что угроза насилием на самом деле является формой того насилия, которого сторонники ненасильственных действий стремятся избегать, потому что она свидетельствует о неуважении к достоинству других в оговоренном выше смысле. Угрожая насилием, человек ставит другого перед тем же затруднением — невозможностью жить нормальной жизнью, — что и само насилие, поэтому нет особой разницы между тем, чтобы совершать насилие, и тем, чтобы угрожать им. Или же мы мо-

жем признать, что угроза насилем неравнозначна реальному насилию, но противоречит духу, если не букве ненасильственного движения, стремящегося избежать насилия. Если ненасилие требует уважения к достоинству других, недостаточно формально действовать так, чтобы тебя не могли обвинить в насилии.

Обращаясь к традиционным ненасильственным акциям, мы сразу же сталкиваемся с вопросом, на который наше определение должно отвечать: разницей между тем, что обычно называют стратегическим или прагматическим насилем и принципиальным насилем. Социолог Курт Шок так формулирует эту разницу:

Прагматическое ненасилие подразумевает приверженность ненасильственным методам ради их предполагаемой эффективности, потенциальное разграничение средств и целей, восприятие конфликта как борьбы несовместимых интересов, попытку нефизического давления на оппонента в ходе этой борьбы, чтобы подорвать его власть, и отсутствие насилия как образа жизни. Принципиальное же ненасилие подразумевает приверженность ненасильственным методам по этическим причинам, неразделимость средств и целей, восприятие конфликта как общей с оппонентом проблемы, готовность пострадать в ходе борьбы, чтобы переубедить оппонента, и целостный взгляд на ненасилие как образ жизни [Schock 2005: xvii]<sup>16</sup>.

В этом различии есть специфически гандианские элементы; не все они для него обязательны, особенно в том, что касается разницы между несовместимостью интересов и общей проблемой или необходимостью переубедить оппонента либо пошатнуть его положение (необходимостью, относительно которой и у самого Ганди были сомнения), но в остальном суть этого различия изложена здесь точно. Если упрощать, можно сказать, что разница между прагматическим и принципиальным насилем заключается в мотивации, стоящей за ненасильственными действиями, а не в самом характере этих действий, хотя порой мотивация может вести к разным действиям. Сторонники прагматического насилия рассматривают ненасилие в категориях *успеха*: ненасильственная акция скорее поможет достичь поставленных целей, чем насильственная. Тому могут быть самые разные причины. Например, превосходящие силы армии или полиции противника лишают насильственный протест смысла. Может быть, протестующие предпочли бы насильственное сопротивление — оно, скажем, быстрее решило бы проблему, — но с учетом военной мощи противника это попросту неосуществимо. Или для успеха акции нужна поддержка широкой публики, а насильственное сопротивление, вероятно, многих отпугнет. Как показывает опыт многих ненасильственных движений — от кампаний Ганди в Индии и борьбы за гражданские права чернокожих в США до протестов на площади Тахрир во время «арабской весны», — ненасилие часто вызывает сочувственное отношение тех, кто непосредственно не вовлечен в такие акции, а такое сочувствие может сыграть решающую роль в успехе кампании. Или же, скажем, в выстроенной противником системе есть слабые места, на которые лучше всего воздействовать ненасильственной акцией. Например, экономическая система сильно зависит от производства не-

---

16 Курт Шок возводит это различие к работе Роберта Барроуза: [Barrowes 1996: 98–101].

ких продуктов или экспорта неких ресурсов, и, если занятые в этих отраслях рабочие устроят забастовку, они скорее добьются успеха, чем прибегнув к насильственному сопротивлению.

Во всех этих случаях выбор ненасильственных методов — чисто стратегическое решение. Тот, кто его принимает, не считает своим долгом уважать достоинство противника — ненасилие для него лишь способ достичь поставленных целей. Принципиальное ненасилие, наоборот, требует принимать всерьез достоинство противника (и сторонних наблюдателей) само по себе. Выражаясь языком Канта, оно требует рассматривать противника как цель саму по себе, а не только как средство для достижения собственных целей. Сторонники принципиального ненасилия не согласятся прибегнуть к насилию, даже если оно скорее обеспечит им успех. Насилие для них — неприемлемое средство борьбы, оно никогда не обсуждается наряду с другими, ненасильственными методами сопротивления.

Принципиальное ненасилие очень близко к пацифизму и, вероятно, в большинстве случаев совпадает с ним. Трудно представить себе пацифиста, который бы не поддерживал принципиальное ненасилие, или сторонника принципиального ненасилия, который не был бы пацифистом. Правда, по аналогии с прагматическим ненасилием можно представить себе и прагматический пацифизм. Разница между прагматическим пацифизмом и прагматическим ненасилием будет заключаться в том, что сторонники первого будут утверждать, что насилие никогда не является наиболее действенным средством изменения политических, экономических или общественных установлений, тогда как вторая позиция возможна только в контексте конкретной ситуации. В таком случае прагматический пацифист не будет с каким-то особым вниманием относиться к достоинству противника в какой-либо борьбе, проявляя уважение к этому достоинству лишь из стратегических соображений, чтобы достичь желанной цели. Такая позиция, конечно, маловероятна, и лично мне не известны никакие ее примеры. Но низкая вероятность еще не означает невозможности; прагматический пацифизм — по сути, более общий случай прагматического ненасилия — взгляд на ненасилие, которого можно придерживаться, не впадая в противоречие.

Теперь, когда мы провели границу между прагматическим и принципиальным ненасилием, следует понять, как эта разница проявляется в ходе насильственной борьбы. Я полагаю, что в плане сопротивления и попытки добиться перемен разница эта не столь велика, как можно заключить из перечисленных отличий. Коль скоро перед нами действительно ненасильственная акция, какая разница, в самом ли деле ее участники уважают достоинство противников или же только *делают вид*, что уважают, или уважают, пока длится акция? Думаю, между такими движениями не будет особых различий. Носит ли акция ненасильственный характер или нет, едва ли зависит от того, уважают ли ее участники достоинство других, потому что так им проще добиться своего, или потому что они считают такое уважение правильным. Носит ли акция ненасильственный характер, зависит от ее организации — или составляющих ее действий, — а не от мотивов участников.

Кто-то возразит, что, если участники акции придерживаются ненасильственных методов исключительно из прагматических соображений, они с большей вероятностью перейдут к насилию, чем те, кто поступает так из принципа. Это, несомненно, так. Однако на характере собственно ненасильственной ак-

ции и составляющих ее действий это не сказывается. Тот факт, что при некоторых условиях характер акции может измениться, не меняет ее природы. Ненасильственная акция — предполагающая уважение к достоинству других — не становится насильственной лишь по той причине, что в обстоятельствах, отличных от текущих, ее участники перешли бы к насилию.

В таком случае может показаться, что мотивы участников ненасильственной акции не имеют никакого значения для ее характера. Имеет значение лишь то, что они делают или чего не делают. Но если это так, как быть со словом «уважение», все-таки подразумевающим некий мотив?

Однако нельзя сказать, что мотивы не имеют для ненасильственной акции никакого значения. Выбирая ненасильственные методы, человек решает вести себя по отношению к другим определенным образом, даже если их действия внушают ему отвращение. Он подписывается под мотивами, необходимыми, чтобы действовать таким образом. Иначе говоря, человек должен приучить себя к ненасильственным действиям, особенно если инстинкты склоняют его к насилию. А это значит научиться руководствоваться определенными мотивами. Другой может внушать мне неуважение своими гнусными поступками, но, если я выбираю ненасильственные методы, я не могу руководствоваться этим мотивом. Мне нужен мотив, при котором я сознаю, пусть даже неохотно, что другой вправе жить своей жизнью и не является просто средством для достижения моих целей.

Это всё, чего требует мотив уважения к достоинству других. Он не требует любви или даже приязни к противнику (хотя в размышлениях о ненасилии часто апеллируют к риторике любви). Невзирая на этот принцип уважения, я могу ненавидеть своего противника. Но если я собираюсь действовать ненасильственно, мною не должна двигать ненависть. Требовать, чтобы ненасильственные действия были мотивированы уважением, продиктованным более положительным взглядом на другого, означает ожидать от ненасилия слишком многого. Само собой, существуют концепции ненасилия, действительно требующие для уважения большего, чем я здесь обозначил. Однако наша задача сейчас — не разбирать конкретные точки зрения на ненасилие, а понять, что объединяет все ненасильственные действия.

Тем не менее, хотя для уважения к достоинству других необязательно даже *чувствовать* к ним уважение, действие в соответствии с принципами ненасилия само по себе способно повлиять на участников, побудив по крайней мере некоторых из них перейти от более прагматического взгляда на ненасилие к более принципиальному. Причина достаточно проста. Когда человек приучает себя к определенной модели поведения, он порой усваивает и ассоциируемый с ней образ жизни. Если, например, критикуя других людей, я приучу себя смотреть им в лицо, чтобы избежать привычной черствости, вполне вероятно, что постепенно мой характер и самом деле станет менее черствым. Не только наши действия порождены нашими мотивами, но и наши мотивы порой порождаются нашими действиями<sup>17</sup>. Вот почему активное участие в ненасильственных действиях способно сделать человека менее склонным к насилию в целом. В данном случае я, конечно, имею в виду переход к принципиальному ненасилию. Может показаться маловероятным, что человек, изначально зани-

17 Эта идея развивается в литературе об аристотелевской концепции приучения, корни которой следует искать в «Никомаховой этике» (кн. I, ч. IX).

мающий иную позицию, когда-нибудь придет к строго принципиальному ненасилию. Но не стоит воспринимать разницу между прагматическим и принципиальным ненасилием как бинарную оппозицию. Человек может быть более или менее принципиален в приверженности ненасилию точно так же, как он может быть более или менее принципиален в вегетарианстве или религиозных убеждениях.

Прежде чем перейти к динамике ненасилия, стоит остановиться на проблеме, которую мы поначалу отодвинули в сторону: возможно ли насилие по отношению к собственности. Вспомним, что, согласно определению Оди, одна из разновидностей насилия — «жестокое и продиктованное ненавистью или злонамеренное и жестокое разрушение или повреждение чужой собственности или потенциальной собственности». А по мнению Буфаччи, «акт насилия имеет место, когда преднамеренно или непреднамеренно, в результате действия или бездействия нарушается неприкосновенность или целостность субъекта (человека или животного) либо объекта (собственности)». Оди и Буфаччи, разумеется, пытаются определить насилие в целом, а не только насилие, которого сторонники ненасилия стремятся избежать. Перед нами такая задача не стоит. Нам не надо отвечать на вопрос, является ли повреждение чужого имущества насилием, а лишь на вопрос, такой ли это тип насилия, которого должны избегать сторонники ненасильственных действий. Расцениваем ли мы повреждение чужой собственности как признак неуважения к достоинству других? Можно ли сказать, что оно отказывает другим в праве жить своей жизнью? Если мы ставим вопрос таким образом, то ответ зависит от того, какая именно собственность повреждена.

Собственность не всего лишь вещь. Это не просто инертная материя, оказавшаяся в том, а не в другом месте. *Собственность*, по Марксу, есть разновидность общественных отношений. Собственность подразумевает принадлежность, а такой статус возможен, только если он признается правилами конкретного общества. Более того, такое признание может принимать разные формы. На Западе мы чаще всего говорим о частной собственности, то есть собственности, принадлежащей кому-то конкретному. Но бывает и совместная собственность, или собственность, принадлежащая народу и находящаяся в ведении государства, или общественная собственность, которой никто конкретно не распоряжается. В контексте нашей дискуссии это означает, что, когда повреждена собственность, нам, чтобы ответить на вопрос, имело ли место насилие, которого необходимо избегать, надо знать, чья это собственность.

Представьте себе, например, что в ходе публичной демонстрации группа протестующих разрушает статую диктатора, которого они пытаются свергнуть. Эта статуя, если она вообще является чьей-то собственностью, принадлежит диктатору. В таком случае в ее разрушении нет или может не быть неуважения к достоинству диктатора. Если протестующие хотят лишь показать, что больше не боятся власти диктатора над ними, такой акт можно считать совместимым с принципами ненасилия, как я их изложил. Если же разрушение символизирует желание уничтожить самого диктатора, тогда в этом акте присутствует насилие, противоречащее уважению к достоинству другого. Конечно, сам способ разрушения обычно намекает, какой вариант имелся в виду. Если статую просто повалили и увезли, то, скорее всего, первый. Если же ее топчут, пинают и в целом обращаются с ней так, будто это человек, которого бьют, перед нами, по-видимому, второй случай.

Во время демонстраций сторонников альтерглобализма в конце 1990-х — начале 2000-х годов было несколько случаев, когда демонстранты, называвшие себя «Черным блоком», кидали камни в окна помещений, принадлежавших различным компаниям, в частности «Starbucks». Другие демонстранты в большинстве своем считали такие действия недопустимыми. Одна из причин их возражений заключалась в том, что из-за подобных действий о демонстрантах складывалось впечатление как о шайке вандалов. Поэтому брошенные камни не помогли донести до публики цель демонстрации. Это, на мой взгляд, совершенно справедливое замечание. Но попробуем зайти с другой стороны: вне зависимости от того, было ли бросание камней в окна принадлежащих компаниям зданий эффективной тактикой, относится ли оно к формам насилия, которых должны избегать сторонники ненасильственных действий?

Опять же — смотря по обстоятельствам. Скажем, если бросать камни в окна кофейни «Starbucks», это, скорее всего, отразится на людях, которые там работают. В частности, они могут испугаться новых атак, что, несомненно, скажется на их возможности жить как обычно. В целом бросание камней в окна с большой вероятностью приведет к такого рода последствиям. Однако если демонстранты бросали камни в окна офиса какой-то компании в субботу днем, когда на рабочем месте никого не было, и дали понять, что инцидент не повторится, перед нами, возможно, несколько иная ситуация. Если кто-то кидается камнями, должны сложиться некие очень специфические обстоятельства, чтобы такие действия не внушали страх, являющийся формой неуважения к достоинству других. Трудно сказать, насколько реален такой сценарий.

Теперь у нас есть рабочая концепция ненасилия. Эта концепция поможет нам понять его механизмы. Существует множество разновидностей ненасильственных акций, и у каждой из них своя динамика. Таким образом, сопротивление неким политическим, экономическим или общественным установлениям может сочетать в себе уважение к другим с попыткой так или иначе вступить с ними в спор.

Пер. с англ. Татьяны Пирусской

## Библиография / References

- [Арендт 2014] — *Arendt H.* О насилии / Пер. с англ. Г.М. Дашевского. М.: Новое издательство, 2014.
- (*Arendt H.* On Violence. Moscow, 2014. — In Russ.)
- [Жижек 2010] — *Жижек С.* О насилии / Пер. с англ. А. Смирнова, Е. Ляминой. М.: Европа, 2010.
- (*Žižek S.* Violence: Six Sideways Reflections. Moscow, 2010. — In Russ.)
- [Ackerman, Duvall 2000] — *Ackerman P., Duvall J.* A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict. New York: St. Martin's Press, 2000.
- [Audi 2009] — *Audi R.* On the Meaning and Justification of Violence // *Violence: A Philosophical Anthology* / Ed. by V. Bufacchi. London: Palgrave Macmillan UK, 2009. P. 136—167.
- [Bäck 2004] — *Bäck A.* Thinking Clearly About Violence // *Philosophical Studies*. 2004. Vol. 117. No. 1/2. P. 219—230.
- [Bondurant 1988] — *Bondurant J.* The Conquest of Violence: The Gandhian Philosophy of Conflict. Princeton: Princeton University Press, 1988.
- [Brownlee 2012] — *Brownlee K.* Conscience and Conviction: The Case for Civil Disobedience. Oxford: Oxford University Press, 2012.

- [Bufacchi 2007] — *Bufacchi V.* Violence and Social Justice. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- [Burrowes 1996] — *Burrowes R.* The Strategy of Nonviolent Defense: A Gandhian Approach. New York: SUNY Press, 1996.
- [Chenoweth, Stephan 2011] — *Chenoweth E., Stephan M.J.* Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press, 2011.
- [Coady 1986] — *Coady C.A.J.* The Idea of Violence // Journal of Applied Philosophy. 1986. Vol. 3. No. 1. P. 3—19.
- [Deming 1981] — *Deming B.* On Revolution and Equilibrium. New York: A.J. Muste Memorial Institute, 1981.
- [Galtung 1969] — *Galtung J.* Violence, Peace, and Peace Research // Journal of Peace Research. 1969. Vol. 6. No. 3. P. 167—191.
- [Garver 1968] — *Garver N.* What Violence Is // The Nation. 1968. Vol. 209. P. 819—822.
- [Holmes 1971] — *Holmes R.* Violence and Nonviolence // Violence: Award-Winning Essays in the Council for Philosophical Studies Competition / Ed. by J.A. Shaffer. New York: David McKay Company, 1971. P. 101—135.
- [Holmes 2013] — *Holmes R.L.* The Ethics of Nonviolence: Essays by Robert L. Holmes. Bloomsbury Press, 2013.
- [King 1963] — *King M.L.* Why We Can't Wait. New York: New American Library, 1963.
- [Kurlansky 2006] — *Kurlansky M.* Nonviolence: The History of a Dangerous Idea. New York: Modern Library, 2006.
- [MacCallum 2009] — *MacCallum G.C.* What is Wrong with Violence // Violence: A Philosophical Anthology / Ed. by V. Bufacchi. London: Palgrave Macmillan UK, 2009. P. 112—133.
- [Roberts, Garton Ash 2011] — *Civil Resistance and Power Politics: The Experience of Non-Violent Action from Gandhi to the Present / Ed. by A. Roberts, T. Garton Ash.* Oxford: Oxford University Press, 2011.
- [Rosen 2012] — *Rosen M.* Dignity: Its History and Meaning. Cambridge: Harvard University Press, 2012.
- [Schock 2005] — *Schock K.* Unarmed Insurrections: People Power Movements in Nondemocracies. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005.